



Разиль Валеев (1947)
родился в Нижнекамском
районе Татарстана.
Окончил Литературный
институт им. М. Горького
в Москве.
Поэт, прозаик,
драматург, публицист.
Лауреат Государственной
премии Республики
Татарстан им. Г. Тукая и
республиканской премии
им. М. Джалиля.
Вице-президент
Татарского ПЕН-центра,
народный депутат
Республики Татарстан

Разиль Валеев

Собачье солнце

ПОВЕСТЬ

Словно до этого он не жил. Спал столько лет и вот сегодня проснулся. Мысли, терзавшие, сколько он себя помнит, вводившие его в заблуждение, сегодня неожиданно нанизались на одну нить, стройно выстроились. И все вокруг показалось настолько простым, что он застыл в недоумении. Не слыша ни аплодисментов, ни восхищенных возгласов вокруг, он погрузился в нахлынувший поток лихорадочных мыслей. Временами ему казалось, что этих мыслей не выдержит мозг, голова расколется пополам и покатится между рядами кресел, как две половинки треснувшего арбуза. А мысли все настойчивее лезли и лезли в голову – навязчиво и неотстранимо.

* * *

...Как человек безжалостен и слеп. Зачем понадобилось выпускать на этот жалкий пятачок сцены русалок в белом шифоне и сказочных джигитов с одинаковыми усами? Как нелепы их натужные прыжки и показательные ужимки, воздетые в искусственном отчаянье руки... Как жалки потуги скопировать природу, с которой ничего не может сравниться по красоте и величию. Закричать: «Люди, одумайтесь!» Почему вы не видите, как прекрасна березка в лесу, которую в танце пытается изобразить костлявая балерина с нарисованными бровями? Почему, увидев в лесу дуб со скрюченными ветками, люди не заплачут навзрыд от сострадания к его боли? По-

чему они никогда не станут вторить аплодисментами тихому шелесту осиновых листьев, почему не кричат «бис» плывущим на озере лебедям, грациознее которых нет ничего на свете?

Почему, почему, почему?

Почему можно прослезиться вечером в театре, а назавтра утром без тени сожаления топтать зеленую траву на газоне, приютившемся среди сплошного асфальта, или рубить под корень елку под Новый год? А есть ли среди этой многотысячной, только что рукоплескавшей толпы хоть один не евший птичьего мяса, не вытиравший ноги о сосновый порог, не паривший спину березовым веником?

Стоп! А я сам? Но я-то хоть не отрицаю собственного безобразия, собственной низости. А они только и занимаются тем, что прячут свои истинные лица, – тысячелетиями, и с помощью всего, что вышло из-под пера, кисти человека, всего, что написано в бесчисленных книгах, где только возвеличение человеческих страстишек и оправдание собственных слабостей...

Хлопают... Неужели никто не понимает, как все это низко? Никто. Ни один из сидящих в зале. Даже врач, который вчера интересовался моими нервами, не понимает. Подумал, наверное: «Тронулся парень», а вслух утешал: «У вас расшалились нервы, неплохо бы отдохнуть...» Все ложь. Только соседка не миндальничала: «Идиот, ненормальный!» А утопить котят слепых, которых принесла ее кошка, – это для них нор-

мально. Как она хохотала тогда, когда я выговаривал ей, что это – варварство, жестокость, что за это ее нужно с земного шара выселить... «Дурак ненормальный» – вот как она меня обозвала. Довольно спорное понятие. Если из живущих на Земле четырех с половиной миллиардов четыре миллиарда четвереста миллионов умалишенные, а остальные – нормальные, то тех, сошедших с ума, стали бы принимать за эталон людей, а меньшинство в каких-то сто миллионов – за умалишенных... Выходит, все дело в количестве? В точке отсчета... А они даже не догадываются об этом.

Встану сейчас и крикну всему залу. Они не поверят, их больше. Чему угодно поверят, но не правде. Встать и крикнуть: «Товарищи, слушайте, я – Шекспир!» Дома будут рассказывать, с кем рядом сидели в театре.

Смеются. Ха-ха-ха... Я над вами тоже посмеюсь...

Театральный зал был переполнен. Парень сидел в первом ряду, чуть подавшись к сцене, и сначала не привлекал ничьего внимания. Рубашка под растянутым костюмом была испачкана чем-то то ли коричневым, то ли красным, галстук сбился в сторону, но никто не придавал этому значения.

Постепенно он разволновался. Время от времени, чаще невпопад, начинал громко аплодировать. Многие приняли это за тонкое понимание знатока и присоединялись. Правда, с его ряда заметили странную улыбку и лихорадочно горевшие глаза, как-то не вписывавшиеся в гармонию лица. Казалось, он и не смотрел на сцену. Время от времени бормотал что-то себе под нос, негромко смеялся.

Потом возбуждение его возросло, он даже пытался несколько раз вскочить с кресла. Сидящие поблизости поглядывали на него недоуменно: то ли студент-иностранец, то ли слегка выпивший? Но гремела музыка, на сцене всюду разворачивалось действие, и всем было не до него, как вдруг, вскочив с места, он повернулся лицом к залу и закричал:

«Товарищи, слушайте, я – Шекспир!» Потом захохотал и бросился к оркестровой яме.

На сцене действие продолжалось, но зал онемел. Как-то одним махом он перепрыгнул барьер и вырвал палочку из рук ничего не подозревавшего дирижера, потом повернулся к зрителям, изящно поклонился и стал дирижировать сам, исступленно взмахивая руками.

Оркестр, словно от удара хлыстом, внезапно смолк. И только старый скрипач, забывшись, не глядя ни в ноты, ни на дирижера, продолжал играть. И над застывшим в оцепенении залом полилась пронзительная мелодия одинокой скрипки. Никто не посмел окликнуть скрипача. Он пришел в себя, когда парня уже увели в боковой проход. Смычок застыл у него в руке.

* * *

Через шесть месяцев после того, как его выписали из больницы, Ирек шел по городу и не знал, что ему делать. Пойти к знакомым после всего произошедшего он не мог, родственники были в деревне, оставалось устроиться в гостинице. Свободных мест не оказалось, велели прийти под вечер. В голове был туман, и как провести несколько часов он не знал. Ноги сами привели к трамвайной остановке.

Кладбище встретило его молчанием. Вдоль дороги стояли высокие камни с красивой вязью арабских слов. Он шел мимо.

Ирек не знал точно, где ее могила, и потому останавливался у каждой. Большие и маленькие камни со звездами и полумесяцами – все перепуталось в его сознании, глаза перестали различать надписи на плитах. Пойти и спросить у сторожа – это казалось ему кощунством.

Когда он добрался до могилы, обнесенной простенькой решеткой, ноги уже не слушались. Красноовато-бурый бугорок еще не успел зарости. Ирек немного постоял, ухватившись руками

за решетку. Потом руки обессилели, он медленно опустился на землю и тихо заплакал. Где-то в глубине кладбища глухо вскрикнула сова. Величественные березы, нависшие над ним кронами, безмолвно замерли в тревожной мгле. В небе над кладбищем и над всем миром возшла луна.

В гостинице его поселили в четырехместный номер. Соседи пригнали скот на убой из деревни и допоздна говорили только об этом: на сколько потянет самая тяжелая туша, как волнуются коровы еще в загоне, будто чувствуют, куда их привели. Удивлялись также современной технике: с одной стороны заводят корову, целую и живую, а с другой все выходит отдельно: и голова, и внутренности, и кровь.

Ирек лежал под одеялом, и смысл их разговора как-то проскальзывал мимо его сознания. Он напряженно пытался восстановить в памяти эти промелькнувшие шесть месяцев, всю минувшую жизнь. Он помнил все, что было до того, как он тогда ходил на кладбище. Смутным отблеском в самом дальнем уголке памяти проскользнули девушки, танцующие на сцене. Почему же он попал в больницу? Кладбище тому причиной или балет? И зачем он вообще пошел на балет? Это было «Лебединое озеро». Ее любимое «Лебединое озеро»... Как красиво танцевали маленькие лебеди, и он видел, какое удовольствие, какое счастье было тогда в ее глазах... Нет, во всем виновата только эта мелодия черной скрипки в руках у старика, повисшая в мертвой тишине зала...

Потом больница. В памяти она никак не совмещалась со всей прежней и нынешней жизнью, выпадала, как вспыхнувший белый экран во время киносеанса. Да, там все было белым: здание, халаты, шторы, лица, потолок...

Сегодня, когда Ирек подходил вечером к гостинице, пошел первый снег. До сих пор он не видел, как идет первый снег. Может, и видел, но не обращал внимания – в памяти этого не осталось. И он замер на несколько минут



возле гостиничного подъезда: все вокруг менялось на глазах, и ему даже показалось, что больница увязалась за ним следом. Скорее бы вернуться в деревню, сгребать белый снег к длинным изгородям, смотреть, как бушует буря в степи...

Врачи советовали ему вернуться в деревню.

Спалось спокойно. Правда, всю ночь бредил от сумятицы снов: заблудился в буряне, выбился из сил – и, наваливаясь, давила снежная, куда бы ни глянул, круговерть... Очнувшись, он почув-

ствовал невероятную усталость, как после изнурительной работы. Соседи, похрапывая, спали. Он взял свою маленькую сумку – все богатство, вышел на улицу и удивился невыносимой в такой ранний час белизне всего вокруг...

К счастью, в кассе оказались билеты. «Кукурузник» сильно качает, и Ирек не стал брать в дорогу ни газет, ни журналов: все равно читать невозможно. Но если смотреть в самолете в одну точку, затошнит. Надо стараться о чем-нибудь думать, забыть, что ты в небе, в воздухе. Иначе дела плохи. Мыслей, которые отвлекли и заставили бы забыть, у Ирека было предостаточно...

Четверть века прожито на земле. Через час самолет доставит туда, откуда все началось, – все, что он о себе помнил и знал.

Четверть века и один час...

* * *

В деревне у каждого мальчишки отдельного, своего детства не бывает: оно на всех одно. Одна речка, улица, один лес, одно небо. Каждый, едва научившись ходить, топал с прутиком за гусятами, в пять-шесть лет приглядывал за коровами и овцами. А потом – школа. Но самое интересное, конечно, ловить мальков, потом лежать на спине возле воды и дразнить солнце, то и дело выглядывавшее в просветы между облаками: «Собачье солнце, сгинь, сгинь, земное солнце, выглянь!» Тогда мне и в голову не могло прийти задуматься, почему в народе называют его «собачьим». Просто забавлялся его юркой игрой: выглянет из-за туч, брызнет в глаза лучистым светом и снова скроется...

В детстве я ничем от других не отличался, но почему-то прослыл среди деревенских странным мальчишкой. Резали птицу на зиму, а я плакал от жалости и в отчаянье ругал отца. Многие смеялись, мальчишки дразнили меня. Но почему, говорил мой дед, люди должны быть все одинаковыми, как инкубаторские цыплята?

В школе пытался писать стихи – дальше районной газеты они не пошли. Да и кто в детстве не писал стихов?

Каждый день я просыпался рано утром и, едва успев продрать глаза, выскакивал на улицу, набросив что-нибудь на себя. Петухи к тому времени успевали охрипнуть от крика, люди уже расходились по делам. А я выслеживал голубоватые дымки над домами. Дед сказал мне однажды, что дым собирается из всех труб, и появляются облака. А я так не любил пасмурные дни и хотел, чтобы над нашей деревней, над лесом сиял голубой купол неба и мороз до звона сковывал прозрачный воздух. «Неужели обязательно нужно топить печь?» – думал я тогда и выводил отсюда непонятную для меня философию: каждый хочет согреть только свой дом и не думает об общем небе и солнце. Уже тогда я наивно пытался понять, что стоит за всем, что я видел и узнавал, какой непонятный мне смысл в том, что люди встают утром и идут на работу, что зимой застывают до инея на ветках, а весной распускаются деревья возле дома, что носятся без устали по небу облака и зачем-то все вокруг движется и живет. Только к одному я не мог даже прикоснуться мыслью. Это особенно тревожит мою память до сих пор, и, честно говоря, после стольких прожитых лет мозг все равно отказывается принять и смириться...

Тот случай впервые столкнул меня с жизнью. Для меня это был удар наотмашь, и тогда я впервые догадался, что жизнь – это не только есть-пить, сгребать снег во дворе, ловить мальков на речке и видеть, как вслед за ночью приходит день, а потом снова ночь. И почувствовал, что есть нечто более важное и значимое, чем все это.

В то лето наша серая гусыня вывела четырнадцать гусят. «Если вырастишь всех до осени, соберу тебе перьев на подушку», – сказала мать. Она-то обещание свое сдержала, а я со своими обязанностями не справился.

Все лето мы не вылазили из воды: рыбачили, купались до посинения. Гусыня незаметно подросли, и мы совсем

позабыли про них: кто мог причинить вред громадине, которую я уже едва поднимал от земли?

Но однажды гуси тревожно загоготали, закричали на всю округу. Когда мы гурьбой прибежали на луг, коршун взлетел уже высоко. В когтях у него трепыхался и пищал гусенок.

Мы с криком помчались за коршуном, стали кидать в него камнями. У него не хватало сил поднять высоко тяжелого, почти взрослого гусенка. С усилием взмахивая большими крыльями, коршун пролетел еще немного, обессилел и, пронзительно вскрикнув, разжал когти. Гусенок шлепнулся на землю.

С того времени на речку стало ходить лишь тринадцать гусят. Четырнадцатому, хоть мне говорили, что не выживет и бессмысленно возиться с ним, я смазал сломанную лапу лекарством, связал перебитые крылья, чтобы он не мучился, пытаюсь взлететь вслед за другими. Кормил я его сам даже с руки.

К осени гусенок лишь слегка прихрамывал. Он ходил, ел и спал вместе с остальными. Гусята поджидали его на прогулке, когда он отставал, делились с ним найденной пищей. Они все выросли и превратились в неторопливых красавцев со статной осанкой и выгнутыми шеями. Один мой гусенок оставался маленьким и грустным на вид.

Однажды вечером родители заговорили о том, что пора резать на зиму гусей. Видимо, заметив, что я побледнел и замер с ложкой в руке, мама сразу меня успокоила: «Твоего мы трогать не будем, сынок, он и так настрадался, да и какой с него прок...»

А через несколько дней мой гусенок не вернулся домой. Все пришли гуськом в загородку во дворе, а моего не было. Сколько мы ни искали его, найти не смогли.

Ночью нас разбудил сосед Шайхулла-абый и рассказал, что ходил вечером в лес за дровами и видел хромого гусенка у ручья мертвым...

Гуси паслись на скошенном поле. Незаметно к ним подкралась лиса. Все встрепенулись и тут же поднялись в

воздух, а мой гусенок взлететь не мог. Он пытался оторваться от земли, взмахивая перебитыми крыльями, долго бежал за родичами, но земля не отпустила его. В тот момент, когда его настигла лиса, он сорвался с крутого обрыва в овраг.

На следующий день там мы его и закопали.

Остальные тринадцать выросли. Осенью мама подарила мне подушку. До самого отъезда из деревни я спал на ней...

Потом начались школьные годы, похожие один на другой, как те гусята, входившие по очереди в наш двор.

Учился я довольно сносно, в институт поступил без особых усилий – по крайней мере, ощущение тяжести этого шага улетучилось. Да я не очень и переживал: не возьмут – махну в Сибирь, решил заранее.

В общежитии нас было пятеро в комнате. Поначалу мы настороженно приглядывались друг к другу. Но слишком много общего было у деревенских парней, которые привыкли философствовать за коровьим хвостом. Не помня себя от радости, что перед нами открылся огромный мир Шекспира, Бальзака, Руссо, мы непрестанно спорили о самых высоких материях и самых сложных вопросах...

Только вот наши желудки, привыкшие за долгую деревенскую зиму усваивать целый погреб картошки, больше всего страдали от новой жизни. Стипендии едва хватало на студенческую столовку: жили впроголодь. А о театре, кино, о модной одежде – и думать забудь. Разве что перепадет из отцовской казны, да откуда она в деревне? А ведь если карман пуст – нет ни гордости, ни уверенности в себе. Поэтому ничего удивительного и не было в том, что девушки обходили нас вниманием.

Тогда в моде были узкие брюки. Кое-как обкорнали мы наши деревенские «клеши», а когда я приехал на каникулы домой, нельзя было показаться на улице: мальчишки бегали гурьбой и показывали пальцами...

Мы дружили со студентами сельхозинститута – все-таки свои. Вечерами изредка бегали в кино, но в основном сидели в своей комнатухе. Однажды случилось событие, всколыхнувшее весь институт.

В тот день я после лекций готовился к семинару в библиотеке и, когда увидел толпу перед актовым залом, ничего не мог понять: все взволнованно говорили, негодование и презрение было в гневных выкриках, кого-то жалели.

– Выгнать из института, чтобы духа его здесь не было!

– Это же животное, а не человек!

Я протолкнулся в зал. Наконец секретарь комитета комсомола института поднялся, и зал постепенно смолк.

– Товарищи, сначала надо дать слово Булату Салимжанову. Пусть он нам посмотрит в глаза...

Он быстро вышел на сцену и, переждав, как хороший оратор, поднявшийся вновь шум, начал говорить:

– Собственно, не понятно, почему вы все вокруг этого устроили такой... – он помолчал, подыскивая нужное слово, – шум. Это наше личное дело...

– Девушку в больницу увезли – это тоже твое личное дело? – крикнули из зала.

– Не надо было устраивать вокруг этого шабаш, – наконец-то сказал он крутившееся на языке слово.

– Во времена болгар за такие дела человека разрубали, и куски развешивали по деревьям, – негромко сказал кто-то из первых рядов.

– Да сейчас двадцатый век! – заорал, не выдержав, Салимжанов. – И человек поступает так, как хочет, а вы все живете по дедовским законам.

– Законов не существует только для подлецов и негодяев! – снова крикнули из зала, и все опять загудели, возмущенные его поведением.

Парень на сцене стоял бледный, все деланное спокойствие спало с него.

– А вы... вы сами?! Сами вы живете по законам справедливости?! Почему же тогда преподаватель рассуждает о гу-

манизме и не поделится зарплатой со студентом, у которого не хватает на обед? Почему нам талдычат, что Чингисхан, Наполеон – великие, хоть они угробили миллионы людей?!

Ему не дали договорить. На следующий день выгнали из института и потом осудили на несколько лет за изнасилование.

В ту ночь я долго не мог заснуть. Откровенный цинизм парня меня как-то не задел: он получит свое, говорят, наказание очищает душу. Но еще там, в зале, в первый же момент я подумал о девушке: что будет с ней, как она будет учиться дальше, опозоренная?

К тому времени уже выяснились обстоятельства. Был обычный день рождения, видимо, он нравился ей, остались одни в комнате, а ночью она вырвалась и выбежала в коридор. Ее звали Амина. Я ее не знал.

Через месяц я возвращался поздно вечером из читалки. На узком тротуаре, ведущем к общежитию, никого не было. Сильный ветер срывал с деревьев последние листья. Повернув за угол столовой, я увидел впереди девушку в темном плаще и косынке. Она шла медленнее, и вскоре я стал ее догонять. И вдруг что-то в ее походке, во всей фигуре поразило меня, как будто я видел уже где-то такую тоску и обреченность. Я успел различить ее лицо. Раньше ее я не видел. И еще до того, как она свернула на тропинку к входу в общежитие, я почему-то понял, кто эта девушка...

Вскоре мне ее показали. Я угадал. С того дня я везде невольно искал ее – в столовой, в коридоре на перерыве между лекциями. Несколько раз шел за ней следом в институт, потом стал поджидать ее перед началом занятий... Подойти не хватало смелости. «Невежа, теленок!» – ругал я себя, иногда даже вслух, но все было бесполезно.

А она даже не догадывалась, что я простаиваю часами, рассчитывая, что она выйдет куда-нибудь вечером. Ходила с поникшей головой и ни с кем не общалась.

Даже не знаю, как это получилось,

но об этой моей тайне узнал Фарит. Звали мы его Фернандель из-за отдаленного сходства с французским комиком. Жил он в одной комнате со мной и отличался крайней застенчивостью. Он обладал способностью спокойно и молча выслушать все, что накипело на душе, и вселить спокойную уверенность в успехе самого безнадежного предприятия. Причем не уговаривал при этом, не давал советы – просто кивал головой, понимающе улыбался, это и придавало мне, например, силы. Кроме того, у него было замечательное качество – при всей своей глуповатой, даже жалкой внешности и молчаливости он откалывал иногда такую шутку, что все в комнате падали от хохота.

Он давно уже носился с идеей махнуть куда-нибудь подальше на Волгу с удочками. Порыбачить, посидеть возле костра под звездами. На майские праздники выпало три свободных дня, более удобного случая могло и не предстать.

И вдруг мне пришло в голову, что три дня праздника мы будем любоваться Волгой, все будут веселиться и радоваться, а Амина просидит их в своей комнате в общежитии или будет ходить одна до полной темноты по улицам, – каждое воскресенье она поступала именно так. Вот если бы взять ее с собой, показать ей ледоход на Волге. Но как пригласить поехать с нами? Подойти и сказать: поедем рыбачить и смотреть на звезды?

Преодолеть свою робость и подойти к ней у меня не было сил. Даже письма писал, но не отправил, конечно. В тот вечер, когда мы с Фаритом договорились поехать на Волгу, я опять встретил ее неподалеку от общежития и опять прошел мимо. Но дальше откладывать было некуда. Я сделал круг в полквартала и снова вышел ей навстречу. Она приближалась, и от отчаянья, что я идиот, трус и ни на что не способен, я все-таки, когда поравнялась со мной, вымолвил одеревеневшими губами:

— Амина...

От неожиданности она застыла на месте.

– Я вас не знаю...

– Я – Ирек. С вами в одном институте учусь, на филфаке, а живу всего этажом ниже, в двадцать седьмой комнате, мы... я часто вижу вас...

Торопливо, проглатывая слова, я говорил и говорил, почти не соображая о чем. Она стояла и никак не могла понять, в чем дело. Я никогда раньше не видел так близко ее глаза, волосы и от волнения молот полную чушь, но всегда потом перед глазами вставало ее лицо в тот момент: настороженные глаза, из которых даже в тревоге и недоумении не уходила грусть. Этот взгляд загипнотизировал меня, она сама забылась на какое-то время и очнулась как будто от внутреннего толчка.

– Так что вам надо?

– Мы с Фаритом, это мой друг и сосед, он в нашей комнате живет – да его все знают, он на Фернанделя похож, мы его все так и зовем – Фернандель...

– Ну и что?..

– Мы с Фаритом на праздники хотим на Волгу поехать, порыбачить, костер разжечь...

Получалось настолько глупо, что, дойдя до слов «звезды считать», я сконфузился и не знал, что говорить.

– Так поезжайте, счастливо отдохнуть, а я-то при чем?

– Мы, это... Мы вас тоже хотели пригласить, там лодка... – не знаю, как я вымолвил это, помню только, как звонко и пусто стало в голове.

Глаза ее сразу расширились, краска бросилась в лицо, губы задрожали.

– Вы... среди белого дня... на улице... смеяться надо мной. Это подло, подло, подло, – уже почти закричала она и бросилась к общежитию.

Пока, очнувшись, я кинулся вслед, она уже забежала к себе на этаж и захлопнула дверь. Из комнаты доносились ее сдавленные рыдания, сердце мое разрывалось от горя, и не вышиб дверь я только потому, что еще больше боялся обидеть ее.

В тот вечер мы с Фаритом просиде-

ли молча, даже он был подавлен, обо мне и говорить нечего. Почти все студенты разъехались по домам, общежитие опустело, и мысль, что Амина сидит одна в комнате и что я своей глупостью и неотесанностью все разрушил сам, не давала мне покоя. Фарит сидел в штанах и майке на кровати и пытался читать Ремарка, но не мог за полчаса осилить страничку. О нашей рыбалке мы и думать забыли.

В двенадцать ночи в дверь постучали. Мы решили не открывать: кто-то из оставшихся студентов пришел просить чего-нибудь. Ведь не разъехались самые неухоженные и никчемные. Конечно, в щели из комнаты пробивался свет, но нам было наплевать. Через некоторое время стук повторился, я не выдержал и, собираясь высказать, что я думаю о тех, кто шатается по ночам, распахнул дверь во всю ширину и... так и застыл с открытым ртом.

В коридоре стояла Амина.

В первые секунды, пока я ловил ртом воздух, она молчала, и я, вместо того чтобы что-то ей сказать, поневоле краем глаза видел, как Фарит медленно поднимается с кровати и зачем-то пытается прикрыть Ремарком свою хилую грудь.

– Ирек, извините, я не знаю, как это вышло... Я... – она хотела еще что-то сказать, но вспухшие глаза стали наливаться слезами. Видимо, она так измучилась, что нервы были совсем на пределе.

– Проходите, проходите, Амина, – спас положение Фарит, он уже успел натянуть рубашку и мягко, но непреклонно втянул ее в комнату. – Я Фарит, мы с Иреком из одной группы.

– Я знаю, – подняла она на него полные слез глаза.

– Ну вот и хорошо, а то этот молодой человек только и твердит: Амина, Амина, а познакомить не догадался. Что с него возьмешь: деревенщина, – притворно вздохнул он, и от этой грубоватой шутки всем сразу стало легче...

Никогда я не был так благодарен Фариту: он как-то ловко и просто уса-

дил ее за стол и усадил меня заварить чай – я чуть не сбил в коридоре комендантшу...

– Вчера на Волге лед тронулся, – услышал я, когда вернулся в комнату с горячим чайником, слова Фарита. Он беседовал с Аминой так, как будто они были добрыми друзьями с самого детства.

– Вчера об этом по радио предупреждали, – сообщила Амина.

– Да, и весна пришла, хоть об этом по радиоле предупреждали... – усмехнулся Фарит.

Через несколько минут мы уже разговаривали, смеялись...

* * *

Едва выбравшись из переполненной электрички, мы, не сговариваясь, рванули бегом до недалекого леса, и Фарит так смешно размахивал впереди нас длинными руками, что Амина от хохота чуть не упала на бегу. Она была в куртке и брюках, как и мы с Фаритом, и, казалось, ничем не отличалась от нас: короткие волосы, веселый блеск глаз.

День был солнечным, теплым. Первым делом мы насобирали веток и разожгли костер. Потом кинулись ставить палатку, и когда все было готово, решили отдохнуть у костра.

От земли поднимался волнистый пар, горло першило от дыма и горького запаха набухших почек, на котором был настоян воздух. Досыта наглядевшись на голубое небо, мы стали собирать валежник для костра. Фарит ушел к реке.

Лес пуст: ни ягод, ни грибов, деревья стоят голые. После жестокой зимы еще не пришли в себя, еще не поверили, что оживут снова и раскроют мощные кроны с зелеными листьями. Согреть бы их, приласкать...

– Амина...

Ее не было рядом. Только что стояла возле березки, разглядывая едва пробивающуюся из земли зеленую траву. Где же она? Впереди, среди просветов деревьев, – беспокойно и без-

мерно разлившаяся Волга, но Амины там нет. Позади – серые стволы берез и сосен.

– Амина! А-у-у!

Пустой лес наполнился моим криком, который через секунду возвратился гулким эхом. Я с детства боюсь эха – оно мне кажется голосом исчезающих людей – притаились среди гор и вторят каждому тревожным отзвуком...

Она вышла из-за древних дубов и рассмеялась звонко, на весь лес. Я рванулся к ней, задевая за ветки, и неожиданно прижал ее к груди.

– Где ж ты была, ты не заблудилась?

Она смутилась и попыталась вывободиться из моих рук, как-то съежилась и стала совсем маленькой.

– Что ж ты так тихо кричал? – улыбнулась Амина.

Волосы ее пахли хвоей.

И потом наступило оцепенение. Ее как будто оторвала от меня, отбросила какая-то слепая сила, взгляд потух.

– Что ты, Амина? – я не знал, что сделать, чтобы вернуть ту минуту, когда она прижалась ко мне.

– Ирек... Я хочу рассказать тебе одну историю. Она старая, ты, наверное, слышал ее. Один человек донимал соседа: выскочит ночью и кричит: «Волки! Волки!» Тот выбегает с ружьем – никого. И так несколько раз. А когда однажды к овчарне в самом деле подобралась целая стая волков, сосед решил, что его снова обманывают, и не вышел...

Она шла рядом со мной и молчала. Уже показалась наша палатка, а я все не мог ничего возразить ей, убедить, что рассказанная ею история ничего не имеет общего с нами. Может быть, потому, что понимал: с какой стати она должна была верить мне? Такой же студент с зачеткой, двумя руками и ногами. Тоже, наверное, гулял вместе с ней по лесу...

– Мне очень хочется, чтобы ты поверила, Амина, – тихо сказал я, – я не знаю, как сделать, чтобы ты поверила...

Она по-прежнему шла молча.

– Хочешь, чтобы ты поверила мне, искупаюсь сейчас в Волге? – в груди у

меня возник и стал расширяться шальной ком.

Она пригнула голову и все молчала. Тогда я, скидывая на бегу рубашку, рывком кинулся к воде – до берега было рукой подать.

– Ирек! – закричала она с таким испугом и отчаяньем, что я остановился...

Фарит ни одной рыбы не поймал. В мутной воде на удочку не ловится. А мы этого не знали. Уху тогда нам все-таки удалось сварить: неподалеку четверо мужчин, одетые как водолазы, ловили рыбу бреднем... Помню еще, как, наевшись ухи, мы лежали, разглядывая верхушки сосен.

**Отведи ж ты глаза, отведи,
Они темны, настолько темны...
В них безмолвным покоем льды,
А любовь пока видит сны... –**

стал читать я «Лесную девушку» Такташа. Фарит смешил нас анекдотами, но я чувствовал, что Амине не до смеха. Она любила Есенина и стала понемногу вспоминать его стихи:

**...Грубым дается радость,
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне ничего не жаль...**

Лежать и смотреть на звезды мы больше уже не могли. Из влажного леса тянуло холодом. Мы забрались внутрь палатки и долго не могли заснуть на ложе из еловых веток. Меня, настороженного и наэлектризованного присутствием Амины, сон не брал дольше всех, и только глубокой ночью, наслушавшись ее ровного, тихого дыхания, я незаметно уснул...

Утром, когда мы с Фаритом очнулись, Амина уже развела костер. Мы немного согрелись и сразу засобирались назад – вчерашний день с бесшабашным весельем и неожиданной откровенностью был неповторим. Я почувствовал это, когда обернулся на полянку возле трех сосен, где недавно стояла наша палатка...

В электричке Амина прильнула к окну и провожала взглядом встречные

деревья. Фарит, как ни пытался, не мог ее развеселить.

Я проводил ее до дверей комнаты и предложил вечером сходить в кино. Она избегала моего взгляда, но кивнула головой в знак согласия и молча попрощалась...

Когда мы вышли из кинотеатра, уже наступила темная ночь. Амина была все в той же сумрачной задумчивости. Я чувствовал, что мы исчерпали лимит дружеской простоты в общении, но перед следующим шагом была непреодолимая стена.

Странно, я никакими усилиями не могу вспомнить ни тот фильм, ни подробности вечера, который мы провели вместе. Но прекрасно помню лихорадочное ощущение ее близости – оно было на грани беспамятства, по крайней мере, я в ее присутствии не мог связно мыслить и совершенно не знал, о чем говорить.

Помню, она остановилась на середине узкого деревянного мостика через овраг. На дне его – железная дорога. Она замерла возле тонких перил, взгляд был магнетически прикован к тускло поблескивающим при свете луны рельсам. При виде двух бледных полосок, густо перечеркнутых шпалами, угадавшимися в темноте, я подумал тогда, как много на свете парных вещей. Люди – да и все живое – тянутся друг к другу, не могут жить в одиночестве. Правда, монорельсовую дорогу уже придумали... Мне хотелось тогда сказать Амине об этом, но мысли мои могли показаться ей слишком откровенными и глупыми...

– Ирек, я тут много раз стояла ночью, – судорожно заговорила тогда она. – И не бросилась вниз только потому, что могло ничего не получиться... Мне всегда не везет. А быть еще и калеккой... Это ужасно. Вот я и живу, никого не трогаю, никому не мешаю. Только хочу, чтобы меня оставили в покое. Ничего не хочу видеть, знать. Мне все равно, понимаешь. Все идет мимо, стороной – и пусть. Только бы меня не задевали...

В этот момент из тоннеля вырвался поезд. Прожектор его ослепил нас, и когда с неудержимой скоростью темная громада накатилась и загромыхала под мостом, я стал считать вагоны... Один, два, три... пять... девять. Бессилие перед этой громадой, катившей под нами с нахлестывающим равномерным перестуком колес... Двенадцать, тринадцать, шестнадцать. Я знал, что вагонов будет пятнадцать-шестнадцать, можно было бы и не считать. Но пересилить себя и отбросить навязчивые цифры не мог.

Неужели вот так же мимо пронесется и ее жизнь? Только мостки задрожат и овеет резким порывом ветра...

«Только бы меня не задевали».

– Пойдем отсюда, Амина, – все, что я смог сказать тогда, но она сразу же двинулась за мной прочь от этого оврага.

Мы долго бродили по городу и вышли наконец к речушке на окраине парка. Присев на полуразбитую скамейку на берегу, долго молчали.

– Амина, расскажи мне что-нибудь...

– Жил-был у бабушки серенький козлик... – горько усмехнулась она.

– Я тебя серьезно спрашиваю, – почти обиделся я. – И... я почти ничего не знаю о тебе, где ты родилась, где училась...

– Анкетные данные сообщить? – так же горько усмехнувшись, переспросила она.

– Я хочу знать про тебя все: что любишь читать, какой была в детстве...

– Это неинтересно... Мама преподает русский в школе, в райцентре. Нет ничего более тусклого, чем такая жизнь, – ни город ведь, ни село. Она меня любила и старалась вырастить современным человеком. Дедушка все рассказывал сказки о богатыре Алпамыше, о хане Габдулле, мама его упрекала: «Живешь в двадцатом веке, а все не можешь расстаться с небыллицами, с кумганом».

От звуков ее голоса притихла и, прислушиваясь, замерла река. Берега поплыли вспять, унося против течения

продрогшие от холода ивы, тусклые фонари, подступившие к воде...

– Ирек, ты, кажется, не слушаешь меня...

Река тут же потекла дальше, берега остановились.

– Я навсегда запомнил каждое твое слово, каждое движение, Амина. Засыпаю, ты перед глазами, как ты мимо проходишь по дороге к общежитию... Скажи, неужели ты не замечала меня?

– Я ничего не замечала, все люди для меня – серые тени...

От холода она вся съежилась в одном легком платьице, и я, чтобы согреть и защитить от всех несчастий, обнял ее за плечи...

* * *

Пролетали дни за днями. Не осталось переулка в городе, тропочки в лесу, по которым мы с Аминой не бродили за два года...

Она пристрастила меня к театру. Деревенский слух мой, привыкший к народным мелодиям, измучился, стараясь воспринять Бетховена, Чайковского, Яруллина. Амина могла часами говорить об услышанной музыке, понимала, что хотел выразить композитор. А я как будто наполнялся звуками и терял способность осознать то, что слышал, – первые же звуки погружали меня в пучину или уносили куда-то в другое пространство, в другое измерение, в котором не было ни зрителей на соседних рядах, ни пышного убранства зала. Только волны музыки и Амина рядом со мной... Приходил я в себя, только когда раздавался шквал аплодисментов.

А вот кино она недолюбливала. Несколько раз мне все же удалось ее уговорить сходить на хорошие фильмы, а однажды, когда мы проходили мимо кинотеатра и настроение по случаю получения стипендии было приподнятым, я, не спрашивая у Амины согласия, утащил ее за собой. Когда мы вошли в зал, титры уже закончились...

Фильм оказался о судьбе обманутой, опозоренной девушки. Амина си-

дела, ничем не показывая, что происходящее на экране задевает ее, а я, не показывая вида, что как-то связываю это с ней, сидел как ни в чем не бывало и незаметно увлекся фильмом. Повернул голову – Амины рядом со мной не было...

Догнал я ее у того самого деревянного моста через овраг, на котором мы стояли два года назад. Плечи ее вздрагивали от несдерживаемых сдавленных рыданий, и никакие уговоры не могли их остановить.

Через несколько часов после того фильма, когда я сидел в общежитии и Фарит, видя мое состояние, даже не пытался растормошить меня, случилось совершенно неожиданное. Амина сама пришла в нашу комнату. Такой я еще никогда ее не видел: глаза покраснели и отливали лихорадочным блеском, волосы были рассыпаны по плечам. Она сама попросила пойти с ней погулять и шла по улице, будто мы куда-то опаздывали. А на том самом мосту вдруг повернулась ко мне:

– Ирек, я решила выйти за тебя замуж. Сегодня же, сейчас же! – в голосе было такое отчаянье и решимость, что я не мог в тот момент обрадоваться. Столько раз заводил об этом разговор и встречал в ответ непроницаемое молчание. А тут...

У меня тогда закружилась голова, пара рельсов внизу на дне оврага слилась в одну. И ничего не мог сказать, только стиснул ее в объятьях и впервые поцеловал в губы.

Всю ночь мы проходили, обсуждая подробности будущей свадьбы и совместной жизни...

На другой день мы отправили письма родителям, спрашивая у них благословения, и подали заявление в загс.

Ответа ждали с таким нетерпением, что, показалось обоим, прошла вечность, пока получили письма. Мать Амины писала, что лучше бы сначала окончить учебу, но препятствовать молодым она не хочет. И затем – на полтетради рассуждения о серьезности и важности решения создать советскую семью и об

ответственности этого шага... Так я и представил себе сухонькую учительницу, возле доски, поучающую класс... Но самое главное – согласна! В тот день мы прыгали до небес.

От письма моих родителей радостное настроение улетучилось. Отец сухим, беспрекословным тоном заявил: «Об этом рано еще думать». Я кипел и готов был жениться без разрешения... Амина пыталась успокоить: «Осталось два года до диплома, подождем». В конце концов решили, чтобы я съездил и поговорил с родителями. Захватив с собой письмо, я отправился к родителям на следующий день. Они должны были понять, что здесь не только любовь, здесь нечто выше любви!

По родной улице не шел, а летел, только предстоящее объяснение чуть омрачало радость от того, что приехал. Ворота скрипели так же, как двадцать лет назад, когда я впервые услышал этот звук. И двор подметен так же чисто, как раньше, возле бани аккуратная поленница. Только на крыше – шифер вместо соломы.

Мать выбежала на крыльцо, руки у нее были в муке...

– Только вчера вспоминали о тебе, только вчера, – твердила она, повиснув на мне, и я поразился, какой легкой и маленькой стала, – да пошлет тебе, сынок, аллах счастья.

Она говорила обо всех деревенских новостях, сказала, что отец на работе, а о письме – ни слова...

Пришлось напомнить ей самому.

– Мам, вы получили наше письмо? – я сделал ударение на слове «наше».

Она сразу погрустнела.

– Сынок, это все отец. Я пробовала его уговорить, он ни в какую. Сами, говорит, все равно не смогут жить на стипендию, мы помогать не в силах: я ведь сейчас только пенсию получаю. Немножко мы могли бы, конечно, высылать. Да и не зря ж говорят: в миру воробей не пропадет... А он все свое твердит: закончит учебу, пусть тогда и женится.

На крыльце в этот момент послы-

шался голос деда. Увидев меня, он раскинул руки:

– Здравствуй, внучек! Вернулся совсем?

– Что ты, дедушка, еще два года учиться.

– Не обижают там тебя учителя? – За чаем он настойчиво отводил разговор от темы, которая меня интересовала больше всего, и я подумал: ждут отца. – Я помню, в медресе я натерпелся в свое время от учителей. Эх, были времена! – и он принялся рассказывать о годах учебы. Мама затопила печку, собираясь печь бялеш*.

Отец вернулся поздно. Увидев меня, обрадовался, потом помрачнел, а когда я сам заговорил о цели моего приезда, лицо его стало совсем жестким.

– Нет, сынок, и толковать об этом не стоит, – заявил он.

Мама перечить ему не пыталась – слишком хорошо знала его крутой нрав.

– Пока диплом не получишь, никаких женитьб. Нечего нищих разводять. А одной любовью сыт не будешь...

Я ушел, хлопнув дверью и не приронувшись к маминому бялешу.

Мать, опустив голову, растерянно теребила концы платка. Дед, сидя на ватном тюфяке и бормоча под нос молитву, перебирал четки, с которыми никогда не расставался. И пока я шел до автобуса, в голове навязчиво звучали слова молитвы, смысл которых я не понимал: «Ля хайрефихиннэ ва ля беддэ минхоннэ**».

* * *

Свадьбу сыграли через месяц. Они все одинаковы – студенческие свадьбы, потому что на стипендию не разгуляешься, у жениха с невестой общие друзья, одни интересы, радости и беды. Впрочем, была в атмосфере торжества и особая нотка с долей грустного уми-

* Бялеш – пирог с начинкой

** «Нет от них добра, а всё ж без них не обойтись» – стих из Корана, посвященный женщинам (араб.)

ления и радости по отношению к невесте и признательного одобрения ко мне. Завкафедрой панибратски обнял и похвалил: «Очень верный, очень хороший шаг в твоей жизни». Декан пригласил в кабинет и долго жал руку. В коридоре даже незнакомые студенты здоровались – неожиданно я оказался в центре внимания всего института...

Свадьба прошла весело. В институтскую столовую набилось столько друзей и знакомых, что, когда все кинулись отплясывать под студенческий оркестр, весь зал ходил ходуном. И, покрывая гвалт, шум, бессвязные разговоры, весь вечер слышен был веселый, залиvistый смех Амины. Она стояла рядом со мной радостная, щеки ее покраснелись, и в глазах блеснули слезы.

Родителей, несмотря на наши настойчивые приглашения, на свадьбе не было.

* * *

Квартиру мы сняли у древней старушки. Дети ее разлетелись по миру, письма от них приходили нечасто, и от старости она перестала даже обижаться на них. Окошко небольшой комнаты выглядывало на двор, заваленный мусором.

Друзья вскладчину подарили нам стол со стульями, бабка уступила железную кровать. Эта мебелировка приводила нас в восторг. Амина оказалась отменной хозяйкой: в комнате всегда чисто, порядок. Стипендию она каким-то непонятным мне способом умудрялась дотягивать до конца месяца. Дни мы проводили в институте, вечерами, забравшись на нашу доисторическую кровать, вместе готовились к зачетам и экзаменам, иногда ходили в театр.

Все было так, как мы и мечтали. Через день забегал Фарит. Амина и его умудрялась подкормить из наших скромных харчей, и, пока он хлебал обеденный суп или доедал картошку с луком, мы с Аминой слушали его рассказы о новостях в общежитии, о шефских концертах в туберкулезном диспансере.

Это было последним увлечением Фарита, которое его все больше и больше захватывало и в которое он умудрился втянуть и меня.

Однажды, после концерта, когда мы уже собрались уходить по домам, к нам неожиданно подошла девушка. Она так волновалась, что мы с трудом ее поняли. В больнице она лежала с самого рождения, и впервые здоровые люди пришли к ней и подарили радость... От быстрой, взволнованной речи лицо ее порозовело, в грустных глазах промелькнули слабые искорки.

– Мне хочется узнать, как дует ветер, – сказала она на прощание, – очень хочется...

С того дня мы с Фаритом стали навещать больную. Приносили книги, рассказывали об институте, о студенческой жизни. Она не только проникалась силой слов, но и как будто улавливала в наших голосах какую-то скрытую, понятную ей одной мелодию. И каждый раз провожала нас словами: «Я надыхалась свежим ветром, спасибо вам».

Амине тоже было жалко девушку, но со временем в те дни, когда мы ходили в больницу, у нее стало портиться настроение, она без причины вспыхивала, раздражалась. И однажды, когда мы с Фаритом вернулись из диспансера, она не выдержала:

– Ну что, сходили к своей больной, проветрились?

Столько неприязни было в ее голосе, что мы опешили и я не знал, что ответить. А она продолжала:

– Нашелся еще один объект для жалости?

– Что ты говоришь, Амина? – не верил я своим ушам.

– Фарит неженатый парень, но ты-то что у нее потерял?

– Да ты что? – я не мог ничего вразумительного сказать ей. – Заболела, что ли?

– Может, и заболела, туберкулез ведь заразный! В общем так, с сегодняшнего дня ни к каким больным девушкам ты ходить не будешь. Нет, посмотрите на него! – она уже не могла

сдержаться. – Там и парни лежат, и старики, и старушки, а они, сердобольные, девушку выбрали. Старики тоже хотят ощутить, как дует ветер...

– Амина, замолчи! – уже резко и зло крикнул я.

– Вместо того чтобы таскать в дом смерти ветер, устроился бы лучше на работу и деньги приносил!

– Замолчи!!!

Сидевшая между рамами муха испугалась громкого голоса и, забившись о стекло, зажужжала.

Фарит пытался вставить слово, но попятился к двери и незаметно вышел. Старушка хозяйка, туговатая на ухо, открыла скрипучую дверь.

– Вы меня звали, ребята мои? Опять, наверное, деньги кончились. Ничего, у меня завтра пенсия...

На полуслове она замолчала, разглядев наконец выражение наших лиц, и ушла к себе. Амина сидела на кровати, обхватив колени. Демонстративно расстелив старое одеяло, я улегся на полу. Она выключила свет.

Что это, ревность? Но невозможно, немыслимо ревновать к девушке, считающей свои последние дни: «Когда вы, ребята, приходите, мне кажется, что туберкулез, схвативший меня за горло, разжимает пальцы...»

Прошел час, два, но я не мог заснуть. Голова болела, казалось, вот-вот лопнет от переполнявших мыслей.

Амина уже давно заснула, сладко откинувшись на подушке. И я вдруг вспомнил, как испугался тогда, в лесу, что потерял ее. С тех пор каждый день боялся потерять: уйду в институт или магазин, а сердце болит, что вернусь и не застану ее.

Как мне хотелось тогда притронуться к тускло белевшему плечу и разбудить ее, сказать, что смешно ссориться по такому глупому, ничтожному поводу, что я люблю ее и никого мне другого не надо.

– Амина...

Она не проснулась, я вышел на улицу, набросив на плечи пальто. Холод сковал не только тело, но и мыс-

ли, всю душу. Так, съезжившись, я добрал до центра города. На площади Свободы были пустые скамейки для сидения. Только в тот момент до меня дошло, что с площадью мы тезки*. Изпод скамейки, на которую я примостился, выглянуло несколько уличных собак. Эх, поискать бы им местечко поудобнее и потеплее... Так, сидя на скамейке, я и уснул. А когда очнулся от непереносимого холода, уже рассветало. Побродив несколько часов, я пошел сразу в институт. Дома появиться не мог.

Фарит пытался отвлечь меня болтовней, но мне было настолько не до его шуток и анекдотов, что вскоре он замолчал. И вдруг вспомнил:

– Ирек! Совсем я забыл, тебя декан вызывал зачем-то...

Возле деканата гудела толпа студентов.

– Мне надо матери дрова помочь заготовить...

– А у меня бабушка при смерти лежит...

– Вчера телеграмму получил, просят приехать скорей...

С трудом протолкнувшись, я открыл дверь:

– Здравствуйте, Зиннур Нуруллович!

– А! Ирек Гильмутдинов. Проходите, пожалуйста, как дела, товарищ глава семейства?

– Спасибо, пока хорошо.

– Почему «пока»? Пусть будет всегда хорошо, даже отлично! Короче говоря, с праздничного парада мы только вас отпускаем: вы семейный человек. Возьмите Амину и – к родителям. Это они на расстоянии дуются, а увидят красавицу, сразу сердце потеплеет.

– Зиннур Нуруллович! Все остаются, а я...

– Скромность, конечно, украшает человека, но тут ты перебарщиваешь. Тебе надо проблемы семейные решать, понял? Так что передай привет от меня родителям.

* Ирек – по-татарски «свобода»

В коридоре меня тут же окружили: «Зачем вызывали, Ирек?»

– Дали разрешение на праздник домой съездить... – в голосе моем не было особой радости.

– Во везет! – вздохнул кто-то из толпы.

– А у меня мама болеет, – вздохнул и тихо сказал худой студент.

– А справка-то есть у тебя? – бойко спросил стоявший возле него.

– Да какая там справка, она и к врачу-то ни разу в жизни не обращалась. Вон Ирека и без справки отпускают...

– Ирек человек женатый. Кто тебе жениться не давал? И тебя б отпустили.

Мне показалось, что они с легкой усмешкой говорят обо мне, и, схватив худого парня за руку, я потащил его к декану.

– Зиннур Нуруллоевич! Отпустите вот этого вместо меня. А мне никаких льгот не надо!

Когда я вернулся из института, комната наша была пуста. Первым делом я открыл окно и выпустил муху. Потом, не раздеваясь, лег на кровать и... заснул.

Очнулся от того, что она стояла рядом – и улыбалась, глядя, как я обнимаю подушку, пахнущую ее волосами. От вчерашнего не осталось и следа. Приподнявшись, я обнял ее за талию и притянул к себе.

– Милая, а я в институте был.

– Я тоже. Только проспала. Ты меня не разбудил.

Я почему-то умолчал о том, где провел ночь. Не сказал и о случае с деканом.

– Ты так красиво спала, что жалко стало будить.

При слове «жалко» лицо ее опять помрачнело. И как я ни пытался оправдываться и приласкать ее, в тот вечер она опять ходила расстроенная.

* * *

Солнце редко заглядывало в наше окно. Поэтому мы совсем не выключа-

ли радио, ждали, когда диктор обрадует нас, пообещав солнечную погоду. Но все дни стояли облачными, а если ненадолго выглядывало солнце, почему-то лучи его не доставали нас. «Может, нам квартиру сменить?» – предложил я Амине. Она ответила: «Дешевле этой не найдем». Больше этот вопрос я не затрагивал.

Подходила к концу зимняя сессия. А мы так и не знали, где провести каникулы. Поехать к нам нельзя: отец, дедушка... К Амине мне ехать не хотелось, хоть ее мать и прислала письмо, приглашая нас. Наконец решили съездить каждый к своим.

Отец в первые дни со мной просто не разговаривал: придет с работы, поужинает и телевизор смотрит молча, пока не кончится передача из Казани. Дедушка не вставал с молитвенного коврика. В первый же день накричал на меня: «Нарушив отцовские и дедовские обычаи, совершил неслыханный в нашем роду проступок!» Больше он со мной почти не разговаривал, как будто нет меня, пустое место. Почему я сразу же не уехал, не знаю. Жалко было мать. Она плакала каждый день, но молчала. И вот однажды отец спросил меня что-то прежним – добрым и заботливым – тоном, и мне вдруг открылось, как он сам измучился молчанием...

В деревню на каникулы приехали многие студенты. Решили организовать нечто вроде агитбригады и выступить перед односельчанами с концертом. Две недели, пока готовились, пронесли незаметно. Народу на концерт набилось полный зал. Я по обыкновению читал Такташа. Не один раз выступал с его стихами, но никогда не видел, чтобы так внимательно слушали его проникновенные строки... Шквал аплодисментов не утихал, пока я не прочитал снова.

Из клуба я возвращался с соседкой, с которой учились в одном классе. Она вспоминала, как в детстве мы играли в «жениха» и «невесту» и мальчишки дразнили нас.

– А помнишь, как тебя побил Вагиз

и ты проплакала целый день? – спросил я ее вдруг. – И мы забрались на сеновал и смотрели в окошко на небо и просили: «Собачье солнце, сгинь, земное солнце выглянь!»

– А оно так и не выглянуло, – грустно усмехнулась она. – Глупые мы были. Какое «собачье солнце», какое «земное»? Ты очень хорошо читал стихи Хади Такташа, Ирек.

– Да что ты...

– Нет, Ирек, мне даже плакать хотелось. И... скажи, Ирек, ты не обидишься? Можно мне тебе письмо написать? Ты, конечно, женатый человек, да еще студент, городским стал, а мы, убогие, способны разве что коровам хвосты крутить...

– Ну зачем ты, я так вовсе не считаю.

– А жена твоя не будет ругаться? Я просто ведь так, перед подружками похвастаться, что со студентом переписываюсь...

Я даже покраснел в темноте, так мне не по себе стало от этого признания: ведь учились вместе, дружили, а она чувствует себя передо мной какой-то второсортной, неполноценной...

– Обязательно пиши! Мы с женой вместе читать будем...

Мы попрощались, и когда она уже взялась за щеколду своей калитки, то окликнула меня:

– Ирек! На том месте, где мы похоронили хромого гусенка, я посадила березку, – резко повернулась и пошла домой.

Как у меня вылетело это из памяти? За две недели и в голову не пришло сходить к ручью.

Я побрел в темноте к ручью. Внизу угадывалось ветвистое стройное дерево.

Спать лег я совсем поздно и долго не мог уснуть. От плача бурана за окном, от посвиста ветра в печке все в доме было таинственным.

Мама разбудила меня рано: надо было успеть на поезд.

Белые столбы дыма из каждого дома струнами вытянулись до самого неба и

превратили деревню в волшебное царство.

В детстве я думал, что облака появляются от этого дыма...

По возвращении меня ожидала новость. Под предлогом, что надо что-то купить в магазине, приехала поглядеть на зятя мать Амины. Прежде чем поздороваться, она испытующе посмотрела на меня долгим, проникающим взглядом. Потом долго расспрашивала о делах в деревне, о родных.

То ли от волнения, то ли от желания побыстрее закончить этот полудопрос, я отвечал отрывисто, почти не задумываясь над смыслом.

Потом она отправила Амину в магазин, и мы остались с глазу на глаз. Мне даже дышать в комнате было тяжело: казалось, что она вбирает в свои легкие весь воздух.

– Ирек! Можно мне называть тебя так?

– Ну конечно, как хотите.

– Амина много мне рассказывала о тебе, очень хвалила, говорила, что нет добрее на свете человека. Это очень хорошо. Ты знаешь, какая душевная травма у нее от того негодяя, нужно осторожно и нежно ее оберегать. Женщина такое забыть не может...

Она говорила и говорила... И после каждой фразы испытующим взглядом пронизывала насквозь. Как кочегар, который, подбрасывая уголь в печь, каждый раз проверяет по градуснику температуру. «Зачем она говорит об этом? Да еще таким холодным тоном, как будто речь идет о том, что ее дочь порезала палец. Разве можно затрагивать такие щепетильные вещи?» До того стало мне тяжело, единственное, чего хотелось – выбежать на улицу, подышать холодным воздухом.

– ...Жаловалась, что к туберкулезникам ходишь. Мало вам своих бед, так еще и чужие на свои плечи взвалить хотите? Я специально прочитала несколько брошюр. Это обреченные люди, хотя есть и вылечиваются. Им ничего не нужно: ни твоих утешений, ни стихов. Если хочешь выступать перед кем-

то, то есть ведь больницы, в которых лежат страдающие животом, травматологические больницы...

– Сумасшедшие дома, – вырвалось у меня, сам не знаю как. До такой степени надоело выслушивать нудные эти пережевывания, что утратил контроль над собой.

Она запнулась и остановилась. В этот момент, на мое счастье, вернулась Амина.

Увидев ее раскрасневшееся с мороза лицо, смеющиеся глаза, как будто вобравшие в себя блистанье миллионов снежинок, я решил, что можно пережить и этот неприятный взгляд, и присутствие ее матери.

Троим в комнате лечь было негде, да и, честно говоря, ее матери я стеснялся. Поэтому на последнем трамвае, грохотавшем по рельсам в ночной морозной тиши, я поехал к ребятам в общежитие.

Примерно через неделю пришло письмо из деревни от соседки: «Тот вечер я не смогу забыть. Стихи, которые ты читал, до сих пор звучат у меня в ушах...»

Пробежав глазами странички, я отдал письмо Амине. Сжав его в кулачке, она медленно села на кровать и, подобрав под себя ноги, прилегла на подушку. Кровать скрипнула и стихла.

«Историческая кровать, – совсем нехстати пришла мне в голову мысль. – Сколько поколений людей на ней рождались и умирали? А она скрипит себе...»

Кровать действительно снова скрипнула. Обхватив руками голову, Амина беззвучно плакала, плечи ее судорожно вздрагивали.

– Амина, что ты, что ты? – лепетал я, совершенно не зная, как ее утешить.

– В чем моя вина, разве я не хотела бы, как эти девушки, вся до конца быть твоей? За что так надсмеялись надо мной...

– Амина, родная моя, я тебя люблю такую, какая ты есть, и только такую...

Она вдруг успокоилась, как будто давно мучившая ее мысль прорвалась

наконец наружу в отчетливой и ясной законченности.

– Нет, Ирек, не любишь ты меня, а жалеешь. От жалости познакомился, от жалости ходил со мной, от жалости женился. А сейчас от жалости со мной живешь. Неужели я ничего не понимаю? Как будто неясно, почему ты ходишь с этими девушками, – хочешь получить от них то, чего нет у меня. Не замечаете, как проговариваетесь: «Так хочется побывать на поляне, где к ягодам никто не притрагивался», – не помнишь?

– Не помню, Амина, – искренне ответил я.

– А я помню. А книги, которые ты читаешь, фильмы, которые ты смотришь, – большинство из них об обманутых, опозоренных девушках!

– Да чушь, чушь это собачья! – хохотал я, но все было бесполезно.

– Не надо мне твоей жалости, понимаешь? – она говорила совершенно спокойно, и от этого мне стало не по себе. – Не надо мне жалости. Оставьте меня одну, не жалеете меня!

* * *

Прошло время, она успокоилась и постепенно вернулась в прежнее состояние.

Только я никак не мог прийти в себя после той ссоры. Жил раньше в каком-то порыве радости, что не только полюбил, но и спас из пропасти человека. А тут вдруг все рухнуло. Я был опустошен. Мне стало казаться, что я в самом деле в чем-то виноват, что совершил какую-то большую непоправимую ошибку. У самого отпетого преступника есть своя философия, оправдывающая самые страшные злодеяния, иначе угрызения совести его убьют или сведут с ума. А я не знал, в чем моя вина перед ней, потому и не мог найти никаких оправданий...

Фарит, заметив, что у нас творится что-то странное, старался помочь: чувствуя, что у нас кончаются деньги, забегает ненароком с кульком, приглашает в кино, в театр. «Скорей бы весна,

опять на Волгу втроем махнем, правда?» – спрашивал он, но Амина отводила взгляд. Я тоже отделялся общими словами.

В марте пришло письмо от отца. «Ладно, раз уж поженились, живите в добром согласии, это наше благословение», – писал он и приглашал приезжать на лето. Я отправил ответное письмо, поблагодарил.

К этому времени Амине уже дали академический отпуск. Она, стесняясь своей располневшей фигуры, безвылазно сидела дома. А в последние дни почти не разговаривала: подойдет к окну и часами стоит неподвижно, прижавшись лбом к стеклу. Часто, вернувшись из института, я заставлял ее с покрасневшими, опухшими от слез глазами...

В тот день мне так не хотелось идти в институт, что я едва пересилил себя. А с последней лекции все-таки ушел. Почти бегом спешил домой и ругал себя: как будто мне открылось, что уже подходит время и надо быть с ней особенно ласковым и бережным. Когда открыл дверь, комната была пуста.

Сердце у меня сжалось, я кинулся к хозяйке.

– Где она?

– Не волнуйся, сынок, как только пришло время, я позвонила. Тут же приехали и забрали с собой, родимую.

Я побежал в родильный дом неподалеку, но там Амины не оказалось. Выяснили, что увезли ее на другой конец города. «Какого черта повезли ее так далеко?!» – заорал я на пожилую женщину. Под молчаливым ее взглядом я замолк, извинился и помчался к Амине.

– Пока неизвестно, молодой человек, приходите завтра, – ответили мне в приемной. То же самое повторяли ночью по телефону.

Сон не брал, я попробовал читать. После первого же предложения книгу отбросил. Отлетев, она упала на кровать. Страницы с шелестом открылись. Оттуда выпал порванный конверт с письмом и упал под кровать. «Наверное, письмо мне успела оставить», – подумал я и достал письмо из-под кро-

вати. Круглые, жирные буквы на конверте, выведенные карандашом. Что это? «Здравствуй, Амина!

Я много раз хотел написать тебе, но все не было времени да и не хватало решимости. Живу я тут нормально. Работаем, спим, анекдоты рассказываем. Только иногда взгрустнется. Я не считаю себя виновным. В тот вечер я несколько не воспользовался силой. Какое всем дело до того, что у нас было? Может, я женился бы на тебе и со временем полюбил бы. Или, думаешь, все по любви женятся?

Как ты живешь? Слышал я, замуж вышла? Поздравляю, желаю счастья...

С приветом. Булат.

11 апреля».

Я не знал, что думать и что делать. Получила две недели назад и скрыла, скрыла письмо этой подлой твари, что еще подлее и грязнее – пытается оправдать свое гнусное дело... Зачем она скрыла?

Отшвырнув письмо, я бросился из дома, мне нужно было выйти куда-то. Толкнув дверь, я захлопнул ее с такой силой, что в комнате раздался тяжелый грохот.

Отворив дверь, я увидел, что отвалилась штукатурка, едва державшаяся до сих пор. Сквозь пыль ничего не было видно. Но мне было не до этого, мне нужно было видеть ее сию же минуту...

– Что вы с ней сделали?! – заорал я в родильном доме первому попавшемуся человеку в белом халате.

– Успокойтесь, товарищ, успокойтесь! – испугался средних лет мужчина из приемной. – Жена ваша жива-здоровая, но появились некоторые осложнения. Все будет хорошо, отправляйтесь домой. Позвоните.

Опустив голову, я вышел и двинулся напрямик через больничный парк. Подмерзший снег хрустел у меня под ногами...

* * *

О том, что Амина умерла при родах, Иреку сказали только к вечеру следующего дня...

Самолет, разрывая облака, пошел на посадку. Солнце осталось там, в небе, а может быть, исчезло. Внизу показалась земля, белая от первого снега. При снижении Ирека стало тошнить. Но зато это хоть избавило его от мыслей и воспоминаний, которые за час лёта совершенно его измучили. Впрочем, на этом все воспоминания кончились, жизнь его обрывалась. Остальное он помнил в смутном калейдоскопе отрывочных мыслей, чьих-то слов, которые он не слышал, чьих-то взглядов и прикосновений, которые он не ощущал. Даже белые лебеди и тоскливый, выворачивающий душу голос скрипки – где это было? Во сне или наяву?.. Ее привезли и потом что-то говорили при толпе народа, стали опускать ее вниз в белом чистейшем саване, – все это, может, и было, но он неодолимо верил, что не было этого. Не было. И все. По крайней мере, ведь он не помнил своего отчаянья или горя. Наоборот, пока преподаватели, студенты, родственники с ней прощались, он тихо стоял себе в сторонке и даже чуть улыбался. А когда какой-то человек прикрыл желтыми досками боковое углубление, куда положили тело, и все стали проходить мимо, бросая горсть земли, твердые комки глины, падая на доски, глухо застучали...

И он вдруг закричал так, что холодок ужаса прошел по лицам и все оцепенели.

– Она стучит, это она стучит!!!

Он кинулся к могиле, но уже в последний момент его едва успели удерживать люди. Он отбивался молча и зло, пока его не оттащили прочь. И тут он

неожиданно вырвался и побежал от кладбища так быстро, что догнать его не смогли...

А потом уже была театральная афиша, и большие буквы «Лебединое озеро», и стройная балерина в белом на афише. Тогда ему показалось, что он догадался, почему Амина там, на кладбище, тоже была в белом, – потому что она будет танцевать сегодня в спектакле. И даже успокоился – тогда ведь все хорошо и он ее увидит.

Доехав до окраины города, он успокоился совсем. Единственное, что его раздражало и давило, это солнце, то и дело проглядывавшее сквозь рваную ветошь низких туч. Он хотел было что-то вспомнить: «Собачье солнце...» Но некогда, надо было поспешить на спектакль, чтобы потом рассказать Амине, что, пока она в больнице, он сходил на ее любимое «Лебединое озеро».

Билетов, конечно, в кассе не оказалось, но он сумел купить один с рук и вошел в зал, когда уже гасла люстра.

И тут дирижер взмахнул рукой...

Самолет, словно желая проверить, тверда ли земля, два раза чиркнул колесами и, подпрыгивая, помчался по полю.

Автобус еще не пришел. Ровная, как луг, площадь, маленький, похожий на баню домик – вот и весь аэродром. Женщина возле крыльца зовет кошку. На речку вдалеке идут гурьбой девушки. А там, дальше, за лесом, начинается улица и родной дом.

И там его сын, который пришел в этот мир через тысячу мук...

О сыне он узнал только в больнице. Что же до сих пор нет автобуса? Скорее бы к сыну, в родную деревню, где столбы дыма подпирают небо...

*Перевод с татарского
С. Комиссарова*